

**Библиотека Классической Литературы**



АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ

Ложится мгла  
на старые ступени

Москва  2022

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Ч-84

Оформление серии *А. Бондаренко*

Оформление суперобложки *Н. Ярусовой*

В оформлении суперобложки использованы фрагменты работ художников *Кузьмы Петрова-Водкина* и *Михаила Гермашева*

На фото: Александр Чудаков, 1958 г.

Фотографии из семейного архива А.П. Чудакова

**Чудаков, Александр Павлович.**  
Ч-84 Ложится мгла на старые ступени / Александр Чудаков. — Москва : Эксмо, 2022. — 640 с. — (Библиотека всемирной литературы).

ISBN 978-5-699-93214-6

Александр Чудаков (1938–2005), выдающийся российский филолог, написал роман «Ложится мгла на старые ступени», с высочайшей концентрацией исторической правды воссоздав образ истинной России в ее тяжелейшие годы. «Книга гомерически смешная и невероятно грустная, жуткая и жизнеутверждающая, эпическая и лирическая», по мнению «Новой газеты».

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-93214-6

© Чудаков А.П., наследники, 2022  
© Чудакова М.О., предисловие, 2022  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2022

*Содержание*

*М. Чудакова*  
ПРЕДИСЛОВИЕ

7

ЛОЖИТСЯ МГЛА НА СТАРЫЕ СТУПЕНИ  
*Роман-идиллия*

9

ПРИЛОЖЕНИЕ

504



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Это сочинение жюри конкурса «Русский Букер» почти единодушно признало лучшим русским романом первого десятилетия XXI века.

Да, это — роман, точнее — «роман-идиллия», хотя многие читатели посчитали книгу сплошь автобиографической: в ней высока концентрация исторической правды и, видимо, трогает читателя достоверность мыслей и чувств российских людей XX века — героев романа.

Это — образ России в ее тяжелейшие годы. В центре — дед главного героя, весьма близкий к своему прототипу — деду автора: я еще успела его застать и оценить. Примечательно, что две яркие главы об этом герое, про которые многие читатели говорили: «Такое можно написать только с натуры!» — по личному признанию автора, вымышлены им с первой строки до последней... Что ж, во-первых, автор хорошо знал своего героя. А во-вторых — был талантлив.

В основе романа — история жизни семьи автора.

...Как и когда попала семья деда в Северный Казахстан — место действия романа? В 1910-е годы они жили в Виленской губернии, в городе Ново-Свенцяны. Леонид Петрович Савицкий там учительствовал и заведовал гимназией.

Начало мировой войны резко изменило жизнь семьи. Известный историк России М. К. Лемке, находившийся в те годы в гуще фронтовых событий, приводит донесение о неожиданно стремительном наступлении немцев на Ново-Свенцяны (они считались одной из главных станций Юго-Западного фронта) в конце августа 1915 года и о том, как в тот момент, когда 29 августа противник находился в 15 верстах от станции, были отданы распоряжения о спешной эвакуации «находившихся в местечке госпиталей, казенных учреждений и местного населения». Менее чем за сутки это было проделано; можно себе представить, как шла эвакуация семьи Савицких с шестью малыми детьми (старшему — восемь лет...). Семья осела в Екатери-

нославе (когда-то образованном Екатериной II в функции третьей столицы России) — то есть уже в Украине. Там в 1916 году родилась мать автора книги, самая младшая дочь, Евгения. Там же пошла она в школу: обучение шло на украинском языке и впоследствии в паспорте она указывала свою национальность — «украинка». Но кончала школу уже в Днепропетровске — город был переименован в 1926 году в честь большевика Григория Петровского, занимавшего в Советской Украине руководящие должности. (Сейчас Украина, проводящая десоветизацию также и в топографии, дала городу название *Днепр*.)

Семья уезжала с Украины в Сибирь после завершения младшей дочерью среднего образования в 1934—1935 гг. — скорей всего от голода и свирепствовавших эпидемий. Сначала — в Семипалатинск (с 2007 года — Семей), город на берегу Иртыша; в середине XIX века там несколько лет жил ссыльный Достоевский.

В этом городе в июле 1937 года Евгения Леонидовна Савицкая закончила Учительский институт, получила право преподавания химии и биологии в средней школе. Затем с родителями и уже с мужем, Павлом Ивановичем Чудаковым (преподававшим с 1933 года, приехав в Семипалатинск из Москвы, историю в средней школе), переехала в небольшой городок Щучинск — в семистах пятидесяти км, что по сибирско-казахстанским пространствам не так уж и далеко...

Город был выбран семьей по настоянию старшего сына, Николая Леонидовича, который работал недалеко от него на урановых рудниках, — и на их глазах стал наполняться ссыльными... В Щучинске (получившем в романе имя Чебачинска) 2 февраля 1938 года родился автор романа, поразив молодую мать и врачей своим весом — 5 кг.

Александр Чудаков помнил свои польские корни. Поступив на филфак МГУ, он в первом же семестре стал по собственному желанию изучать польский язык, и вскоре читал по-польски. Когда мы подружились на 3-м курсе, одно из первых его сообщений о себе было — родство (через бабушку) с Мари Кюри-Склодовской, имя которой в нашей стране пользовалось большой популярностью. И еще — ему очень нравилось, что девичья фамилия его бабушки состояла из трех частей — Налочь-Длусская-Склодовская...

Закончу это вступление сохранившимся в дневнике А. П. Чудакова отзывом на еще не опубликованный роман его молодого друга Р. Лапушина, поэта и филолога: «...Раскрытые окна, свежий ветер. Такого нет сейчас. ...Это — счастливая книга, книга о счастье, вопреки всему».

М. Чудакова

ЛОЖИТСЯ МГЛА  
НА СТАРЫЕ СТУПЕНИ

Роман-идиллия



## 1. АРМРЕСТЛИНГ В ЧЕБАЧИНСКЕ

Дед был очень силен. Когда он, в своей выгоревшей, с высоко подвёрнутыми рукавами рубаше, работал на огороде или строгал черенок для лопаты (отдыхая он всегда строгал черенки, в углу сарая был их запас на десятилетия), Антон говорил про себя что-нибудь вроде: «Шары мышц катались у него под кожей» (Антон любил выразиться книжно). Но и теперь, когда деду перевалило за девяносто, когда он с трудом потянулся с постели взять стакан с тумбочки, под закатанный рукав нижней рубашки знаком покатился круглый шар, и Антон усмехнулся.

— Смеёшься? — сказал дед. — Слаб я стал? Стал стар, однако был он прежде млад. Почему ты не говоришь мне, как герой вашего босяцкого писателя: «Что, умираешь?» И я бы ответил: «Да, умираю!»

А перед глазами Антона всплывала та, из прошлого, дедова рука, когда он пальцами разгибал гвозди или кровельное железо. И ещё отчётливей — эта рука на краю праздничного стола со скатертью и сдвинутой посудой — неужели это было больше тридцати лет назад?

Да, это было на свадьбе сына Переплёткина, только что вернувшегося с войны. С одной стороны стола сидел сам кузнец Кузьма Переплёткин, и от него, улыбаясь смущённо, но не удивлённо, отходил боец скотобойни Бондаренко, руку которого только что припечатал к скатерти кузнец в состязании, которое теперь именуют армрестлинг, а тогда не называли никак. Удивляться не приходилось: в городке Чебачинске не было человека, чью руку не

мог положить Переплёткин. Говорили, что раньше то же мог сделать ещё его погибший в лагерях младший брат, работавший у него в кузне молотобойцем.

Дед аккуратно повесил на спинку стула чёрный пиджак английского бостона, оставшийся от тройки, сшитой ещё перед первой войной, дважды лицованный, но всё ещё смотревшийся (было непостижимо: ещё на свете не существовало даже мамы, а дед уже щеголял в этом пиджаке), и закатал рукав белой батистовой рубашки, последней из двух дюжин, вывезенных в пятнадцатом году из Вильны. Твёрдо поставил локоть на стол, сомкнул с ладонью соперника свою, и она сразу потонула в огромной разлапой кисти кузнеца.

Одна рука — чёрная, с взевшейся окалиной, вся переплетённая не человеческими, а какими-то воловьими жилами («Жилы канатами вздулись на его руках», — привычно подумал Антон). Другая — вдвое тоньше, белая, а что под кожей в глубине чуть просвечивали голубоватые вены, знал один Антон, помнивший эти руки лучше, чем материнские. И один Антон знал железную твёрдость этой руки, её пальцев, без ключа отворачивающих гайки с тележных колёс. Такие же сильные пальцы были ещё только у одного человека — второй дедовой дочери, тёти Тани. Оказавшись в войну в ссылке (как чесеирка — член семьи изменника родины) в глухой деревне с тремя малолетними детьми, она работала на ферме дояркой. Об электродойке тогда не слыхивали, и бывали месяцы, когда она выдаивала вручную двадцать коров в день — по два раза каждую. Московский приятель Антона, специалист по мясо-молоку, говорил, что это всё сказки, такое невозможно, но это было — правда. Пальцы у тёти Тани были все искривлены, но хватка у них осталась стальная; когда сосед, здороваясь, в шутку сжал ей сильно руку, она в ответ так сдавила ему кисть, что та вспухла и с неделю болела.

Гости выпили уже первые батареи бутылок самогона, стоял шум.

— А ну, пролетарий на интеллигенцию!

— Это Переплёткин-то пролетарий?

Переплёткин — это Антон знал — был из семьи высланных кулаков.

— Ну а Львович — тоже нашел советскую интеллигенцию.

— Это бабка у них из дворян. А он — из попов.

Судья-доброволец проверил, на одной ли линии уставлены локти. Начали.

Шар от дедова локтя откатился сначала куда-то в глубь засученного рукава, потом чуть прикатился обратно и остановился. Канаты кузнеца выступили из-под кожи. Шар деда чуть-чуть вытянулся и стал похож на огромное яйцо («страусиное», подумал образованный мальчик Антон). Канаты кузнеца выступили сильнее, стало видно, что они узловаты. Рука деда стала медленно клониться к столу. Для тех, кто, как Антон, стоял справа от Переплёткина, его рука совсем закрыла дедову руку.

— Кузьма, Кузьма! — кричали оттуда.

— Восторги преждевременны, — Антон узнал скрипучий голос профессора Резенкампфа.

Рука деда клониться перестала. Переплёткин посмотрел удивлённо. Видно, он надал, потому что вспух ещё один канат — на лбу.

Ладонь деда стала медленно подыматься — ещё, ещё, и вот обе руки опять стоят вертикально, как будто и не было этих минут, этой вздувшейся жилы на лбу кузнеца, этой испарины на лбу деда.

Руки чуть заметно вибрировали, как сдвоенный механический рычаг, подключённый к какому-то мощному мотору. Туда — сюда. Сюда — туда. Снова немного сюда. Чуть туда. И опять неподвижность, и только еле заметная вибрация.

Сдвоенный рычаг вдруг ожил. И опять стал клониться. Но рука деда теперь была сверху! Однако когда до столешницы оставался совсем пустяк, рычаг вдруг пошёл обратно. И замер надолго в вертикальном положении.

— Ничья, ничья! — закричали сначала с одной, а потом с другой стороны стола. — Ничья!

— Дед, — сказал Антон, подавая ему стакан с водой, — а тогда, на свадьбе, после войны, ты ведь мог бы положить Переплёткина?

— Пожалуй.

— Так что ж?..

— Зачем. Для него это профессиональная гордость. К чему ставить человека в неловкое положение.

На днях, когда дед лежал в больнице, перед обходом врача со свитой студентов он снял и спрятал в тумбочку нательный крест. Дважды перекрестился и, взглянув на Антона, слабо улыбнулся. Брат деда, о. Павел, рассказывал, что в молодости тот любил прихвастнуть силой. Разгружают рожь — отодвинет работника, подставит плечо под пятипудовый мешок, другое — под второй такой же, и пойдёт, не сгибаясь, к амбару. Нет, таким хвостой деда представить было нельзя никак.

Любую гимнастику дед презирал, не видя в ней проку ни для себя, ни для хозяйства; лучше расколоть утром три-четыре чурки, побросать навоз. Отец был с ним солидарен, но подводил научную базу: никакая гимнастика не даёт такой разносторонней нагрузки, как колка дров, — работают все группы мышц. Подначитавшись брошюр, Антон заявил: специалисты считают, что при физическом труде заняты как раз не все мышцы, и после любой работы надо делать ещё гимнастику. Дед и отец дружно смеялись: «Поставить бы этих специалистов на дно траншеи или на верх стога на полдня! Спроси у Василия Илларионовича — он по рудникам двадцать лет жил рядом с рабочими бараками, там всё на людях, — видел он хоть одного шахтёра, делающего упражнения после смены?» Василий Илларионович такого шахтёра не видел.

— Дед, ну Переплёткин — кузнец. А в тебе откуда было столько силы?

— Видишь ли. Я — из семьи священников, потомственных, до Петра Первого, а то и дальше.

— Ну и что?

— А то, что — как сказал бы твой Дарвин — искусственный отбор.

При приёме в духовную семинарию существовало негласное правило: слабых, малорослых не принимать. Мальчиков привозили отцы — смотрели и на отцов. Те, кому предстояло нести людям слово Божие, должны быть красивые, высокие, сильные люди. К тому ж у них чаще бывает бас или баритон — тоже момент немаловажный. Отбирали таких. И — тысячу лет, со времён святого Владимира.

Да, и о. Павел, протоиерей Горьковского кафедрального собора, и другой брат деда, что священствовал в Вильнюсе, и ещё один брат, священник в Звенигороде, — все они были высокие, крепкие люди. О. Павел отсидел десятку в мордовских лагерях, работал там на лесоповале, а и сейчас, в девяносто лет, был здоров и бодр. «Поповская кость!» — говорил отец Антона, садясь покурить, когда дед продолжал не торопясь и как-то даже незвучно разваливать колуном берёзовые колоды. Да, дед был сильнее отца, а ведь и отец был не слаб — жилистый, выносливый, из мужиков-однодворцев (в которых, впрочем, ещё бродил остаток дворянской крови и собачьей брови), выросший на тверском ржаном хлебе, — никому не уступал ни на покосе, ни на трелёвке леса. И годами — вдвое моложе, а деду тогда, после войны, перевалило за семьдесят, был он тёмный шатен, и седина лишь чуть пробивалась в густой шевелюре. А тётка Тамара и перед смертью, в свои девяносто, была как вороново крыло.

Дед не болел никогда. Но два года назад, когда младшая дочь, мать Антона, переехала в Москву, у него вдруг начали чернеть пальцы на правой ноге. Бабка и старшие дочери уговаривали сходить в поликлинику. Но в последнее время дед слушался только младшую, её не было, к врачу не пошёл — в девяносто три ходить по врачам глупо, а ногу показывать перестал, говоря, что всё прошло.

Но ничего не прошло, и когда дед всё же показал ногу, все ахнули: чернота дошла до середины голени. Если бы захватили вовремя, можно было бы ограничиться ампутацией пальцев. Теперь пришлось отрезать ногу по колену.

Ходить на костылях дед не выучился, оказался лежачим; выбитый из полувекового ритма целодневной работы на огороде, во дворе, загрустил и ослаб, стал нервным. Сердился, когда бабка приносила завтрак в постель, перебирался, хватаясь за стулья, к столу. Бабка по забывчивости подавала два валенка. Дед на неё кричал — так Антон узнал, что дед умеет кричать. Бабка пугливо запиховала второй валенок под кровать, но и в обед, и в ужин всё начиналось снова. Убрать второй валенок совсем почему-то догадались не сразу.

В последний месяц дед совсем ослабел и велел написать всем детям и внукам, чтобы приехали проститься и «заодно решить кое-какие наследственные вопросы» — эта формулировка, говорила внучка Ира, писавшая письма под его диктовку, повторялась во всех посланьях.

— Прямо как в повести известного сибирского писателя «Последний срок», — говорила она. Библиотекарша районной библиотеки, Ира следила за современной литературой, но плохо запоминала фамилии авторов, жалуясь: «Их так много».

Антон подивился, прочитав в письме деда о наследственных вопросах. Какое наследство?

Шкаф с сотней книг? Столетний, ещё виленский, диванчик, который бабка называла козеткой? Правда, имелся дом. Но он был старый и ветхий. Кому он нужен?

Но Антон ошибался. Из тех, кто жил в Чебачинске, на наследство претендовали трое.

## 2. ПРЕТЕНДЕНТЫ НА НАСЛЕДСТВО

В старухе, встречавшей его на перроне, свою тётку Татьяну Леонидовну он не узнал. «Годы наложили неизгладимый отпечаток на её лицо», — подумал Антон.

Среди пяти дедовых дочерей Татьяна считалась самой красивой. Она раньше всех вышла замуж — за инженера-путейца Татаева, человека честного и горячего. В середине войны он дал по морде начальнику движения. Тётя

Таня никогда не уточняла за что, говоря только: «ну, это был мерзавец».

Татаева разбронировали и отправили на фронт. Он попал в прожекторную команду и как-то ночью по ошибке осветил не вражеский, а свой самолет. Смершевцы не дремали — его арестовали тут же, ночь он провёл в ихней арестной землянке, а утром его расстреляли, обвинив в преднамеренных подрывных действиях против Красной Армии. Впервые услышав эту историю в пятом классе, Антон никак не мог понять, как можно было сочинить подобную чушь, что человек, находясь в расположении наших войск, среди своих, которые тут же его схватят, сделал бы такую глупость. Но слушатели — два солдата Великой Отечественной — нисколько не удивились. Правда, реплики их — «разнарядка?», «не добирали до цифры?» — были ещё непонятней, но Антон вопросов никогда не задавал и, хоть его никто не предупреждал, нигде домашних разговоров не пересказывал — может, поэтому при нём говорили не стесняясь. Или думали, что он ещё мало что понимает. Да и комната одна.

Вскоре после расстрела Татаева его жену с детьми: Вовкой шести лет, Колькой — четырех и Катькой — двух с половиной отправили в пересыльную тюрьму в казахстанский город Акмолинск; четыре месяца она ждала приговора и была выслана в совхоз Смородиновка Акмолинской области, куда они добирались на попутных машинах, подводах, быках, пешком, шлёпая в валенках по апрельским лужам, другой обуви не было — арестовали зимой.

В посёлке Смородиновка тётя Таня устроилась дояркой, и это была удача, потому что каждый день она в грелке, спрятанной на животе, приносила детям молоко. Никаких карточек ей как ЧСИР не полагалось. Поселили их в телятнике, но обещали землянку — вот-вот должна была умереть её обитательница, такая же ссыльно-поселенка; каждый день посылали Вовку, дверь не запиралась, он входил и спрашивал: «Тётенька, вы ещё не померли?» — «Нет ещё, — отвечала тётенька, — при-

ходи завтра». Когда она наконец умерла, их вселили на условии, что тётя Таня покойницу похоронит; с помощью двух соседок она повезла на ручной тележке тело на кладбище. Новая насельница впряглась в ручки-оглобли, одна соседка подталкивала тележку, то и дело застревавшую в жирном степном чернозёме, другая придерживала завернутое в мешковину тело, но тележка была маленькая, и оно всё время скатывалось в грязь, мешок скоро стал чёрный и липкий. За катафалком, растянувшись, двигалась похоронная процессия: Вовка, Колька, отставшая Катька. Однако счастье было недолгим: тётя Таня не ответила на притязания заведующего фермой, и её из землянки снова выселили в телятник — правда, другой, лучший: туда поступали новорождённые телки. Жить было можно: помещение оказалось большое и тёплое, коровы телились не каждый день, случались перемены и по два, и даже по три дня, а на седьмое ноября вышел праздничный подарок — ни одного отёла целых пять дней, всё это время в помещении не было чужих. В телятнике они прожили два года, пока любвеобильного заведующего не пырнула вилами-трёхрожками возле навозной кучи новенькая доярка — чеченка. Пострадавший, дабы не подымать шуму, в больницу не обратился, а вилы были в навозе, через неделю он умер от общего сепсиса — пенициллин в этих местах появился только в середине пятидесятых.

Всю войну и десять лет после тётя Таня проработала на ферме, без выходных и отпусков, на руки её страшно было смотреть, и сама она стала худа до прозрачности — пройдисвет.

В голодном сорок шестом бабка выписала старшего — Вовку — в Чебачинск, и он стал жить с нами. Был он молчалив, никогда ни на что не жаловался. Сильно порезав однажды палец, залез под стол и сидел, собирая капавшую кровь в горсть; когда наполнялась, осторожно выливал кровь в щель. Он много болел, ему давали красный стрептоцид, отчего его струйка на снегу была алой, чему я очень завидовал. Был он старше меня на два года,

но пошёл только в первый класс, я же, поступив сразу во второй, был уже в третьем, чем перед Вовкой страшно задавался. Наученный дедом читать так рано, что не помнил себя неграмотным, высмеивал читавшего по складам братца. Но недолго: читать он научился быстро, а складывал и умножал в уме к концу года уже лучше меня. «В отца, — вздыхала бабка. — Тот все расчёты делал без логарифмической линейки».

Тетрадей не было; учительница сказала, чтобы Вовке купили какую-нибудь книгу, где бумага побелее. Бабка купила «Краткий курс истории ВКП (б)» — в магазине, где продавался керосин, графины и стаканы производства местного стекольного завода, деревянные грабли и табуретки местного же промкомбината, стояла ещё и эта книга — целая полка. Бумага в ней была наилучшая; Вовка выводил свои крючки и «элементы букв» прямо поверх печатного текста. Перед тем как текст навсегда пропадал за ядовитыми фиолетовыми элементами, мы его внимательно прочитывали, а потом экзаменовали друг друга: «У кого был мундир английский?» — «У Колчака». — «А табак какой?» — «Японский». — «А кто ушёл в кусты?» — «Плеханов». Вторую часть этой тетрадки Вовка озаглавил «Рыхметика» и решал там примеры. Начиналась она на знаменитой четвёртой — философской — главе «Краткого курса». Но учительница сказала, что под арифметику надо завести особую тетрадь — для этого отец дал Вовке брошюру «Критика Готской программы», но она оказалась неинтересной, только предисловие — какого-то академика — начиналось хорошо, со стихов, правда, записанных не в столбик: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

Вовка проучился в нашей школе только год. Я писал ему письма в Смородиновку. Видимо, в них было что-то обидное и хвастливое, потому что Вовка вскоре прислал мне в ответ письмо-акrostих, который расшифровывался так: «Антоша англичанин хвастунок». Центральное слово составилось из стихов: «А ты всё же задаёшься, Надо меньше воображать, Говоришь, хотя смеёшься, Лишь не надо

обзывать. И хотя английский учишь, Часто это не пиши, А как это ты получишь, Напиши мне от души» и т. д.

Я был потрясён. Вовка, который всего год назад на моих глазах читал по слогам, теперь писал стихи — да ещё акrostихи, о существовании которых в природе я и не подозревал! Много позже Вовкина учительница говорила, что другого такого способного ученика не помнит за тридцать лет. В своей Смородиновке Вовка окончил семь классов и школу трактористов и комбайнеров. Когда я приехал по письму деда, он жил всё там же, с женой-дояркой и четырьмя дочками.

Тётя Таня перебралась с остальными детьми в Чебачинск; отец вывез их из Смородиновки на грузовике вместе с коровой, настоящей симменталкой, которую не бросать же было; всю дорогу она мычала и стучала рогами о борт. Потом он устроил среднего, Кольку, в школу киномехаников, что было не так просто — после плохо залеченного в детстве отита он оказался глуховат, но в комиссии сидел бывший ученик отца. Начав работать киномехаником, Колька проявил необычайную разворотливость: продавал какие-то поддельные билеты, которые подпольно ему печатали в местной типографии, на сеансах в туберкулёзных санаториях с больных брал плату. Жулик из него вышел первостатейный. Интересовали его только деньги. Нашёл богатую невесту — дочь известной местной спекулянтки Мани Делец. «Ляжет под одеяло, — жаловалась свекрови молодая в медовый месяц, — и отвернётся к стенке. Я и грудью, и всем прижимаюсь, и ногу на него кладу, а потом тоже отвернусь. Так и лежим, задница к заднице». После женитьбы купил себе мотоцикл — на машину тёща денег не дала.

Катька в первый год жила у нас, но потом ей пришлось отказать — с первых дней она подворовывала. Очень ловко крали деньги, спрятать которые от неё не было никакой возможности — она находила их в швейной шкатулке, в книгах, под радиоприёмником; брала только часть, но ощутимую. Мама обе зарплаты, свою и отцовскую, стала носить в портфеле в школу, где он в безопасности